

Кузьма
ПЕТРОВ-ВОДКИН

ХЛЫНОВСК



Издательство «Детская литература»

ОБ

Р₂
П30

Кузьма
ПЕТРОВ-ВОДКИН

ХЛЫНОВСК

Повесть



65360-1 V+

БАЛАКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

Москва
«Детская литература»
1991

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ЦГБ

ББК 84.3Р7
ПЗ0

Заставки и концовки
К. Петрова-Водкина

На обложке — К. Петров-Водкин.
Натюрморт с яблоками.

Оформление
Ю. Боярского

Петров-Водкин К. С.
ПЗ0 Хлыновск: Повесть/Оформлѐние Ю. Бояр-
ского. — М.: Дет. лит., 1991. — 240 с.: ил.
ISBN 5-08-001577-2

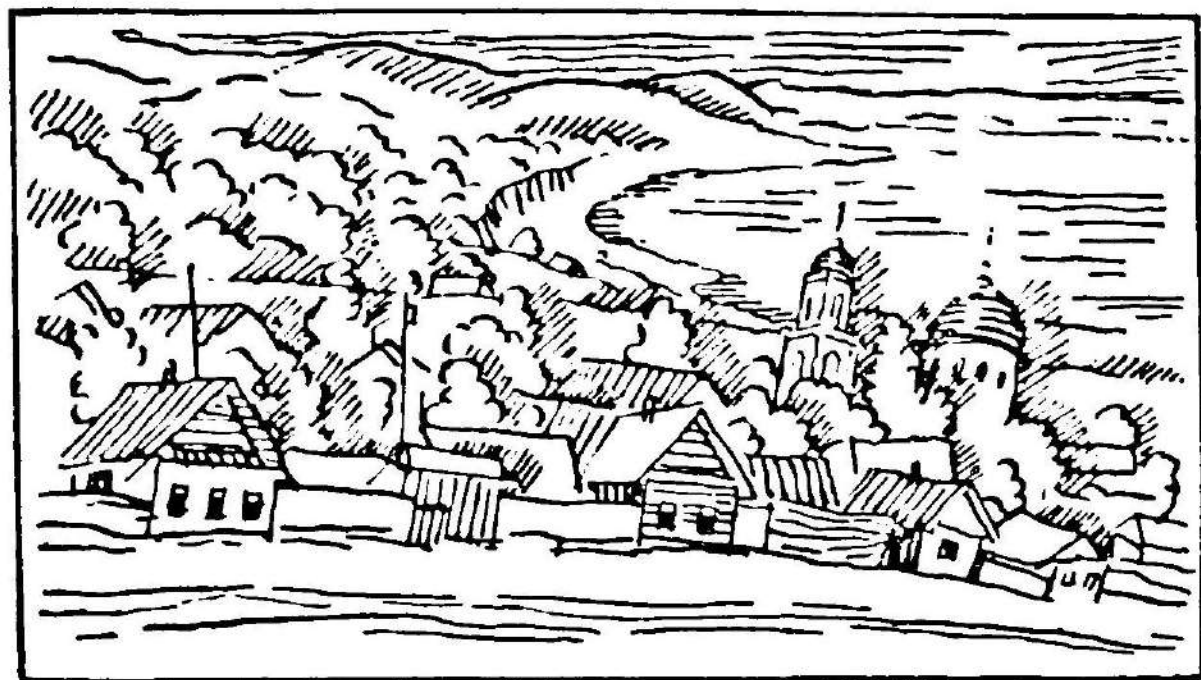
Первая часть автобиографической трилогии замечательного русского художника К. С. Петрова-Водкина. Автор красочно рассказывает о своем детстве в провинциальном русском городке на Волге, о жизни, обычаях ремесленников, простого городского люда.

П 4803010201-272 267 — 90
М 101(03)-91

ББК 84.3Р7

ISBN 5-08-001577-2

© Ю. Боярский. Оформление. 1991



*Книгу эту посвящаю
дочери моей Лёнушке*

Глава первая

ПО ЛИНИИ МАТЕРИ

Мои родные по линии матери были крепостные Тульской губернии. Дядья моей бабушки Федосьи Антоньевны работали в оброк на ткацкой фабрике в Москве.

Бабушка рассказывала мне из своей детской жизни: о нашествии французов, о Москве, где она побывала и сохранила образ Белокаменной до конца своих дней.

В Москву она ходила с матерью и теткой на повиданье с родными.

— Целый день, — говорила бабушка, — шли мы через Москву... Что тебе и пожара великого не было... Церквей, домов — глазом не обнять... А Иван Великий, батюшка, надо всей Белокаменной поднялся. Народу по всем переулкам тьма-тьмушая...

Тетенька Василиса смелая, бойкая была, к народу обращается, чтоб указанье нам сделали. Которые из народа на смех нас, деревенщину, поднимают, а один степенный человек толком разъяснил дорогу нашу: вы-де, говорит, бабыньки, по кружной линии по Москве ходили, а вам

сквозь нее надо дорогу взять, иначе-де и в неделю до места вашего не доберетесь... И смех и грех.

Пришли-таки к тетке Степаниде, а она уже не знает, чем и принять нас. Лапотишки мы у входа сняли, чтоб половиков не содомить...

Посадила она нас за стол, а на столе чего только нет, а кушанья все незнакомые, непривычные: возьмешь в рот, а от их вкуса страх берет, язык жевать не поворачивается... А не есть — стыдно.

Смотрю украдкой я, а тетенька Василиса с большим остережением куски за сарафан сует: отвернется хозяйка, а она — шмыг за пазуху — и нет куска...

Батюшки-светы — смотрю, и мамынька за ней ухитряется... Стыд головыньке. Прямо не знаю, как и ужинать кончили...

Да. Хорошо они тогда по оброку ходили, — заканчивала бабушка, и мелкие морщины ее лица веселились от воспоминания.

В длинные осенние вечера, крутя веретено, задремывая с минуты на минуту, бабушка передавала мне историю ее дней и события, уже ставшие эпосом:

— И вот повалил Бонапарт на Москву — и конца краю ему нет. Скрып от войска идет... Мы всей деревней в лесах укрывались. Ни тебе огня развести, ни голосом покричать. Натерпелись горя-горемычного.

Ведь он, нехристь, с иноплеменниками своими царя Александру в полон звал. В святом Кремле нечисть завел. Ну, можно сказать, русское опоганил... Хвастался — всю-де страну покорю, вере басурманской предам всех... А Бог и не потерпел удали его, да и послал он на него Кутузова-батюшку с ополчениями бессметными...

Ну, а когда отступление его было — еще не слаще сделалось. Мужики воют, а нас при старухах жалость берет. Морозы в теи годы лютые были. Забежит такой нехристь, а на нем рогожа поверх одеяния. Зубами хрустит, есть просит... То по голове младенца начнет гладить, хорошо, говорит, дома, — это, значит, он дите свое вспоминает.

Дадут старухи ломоть хлеба ему: уходи, мол, не ровен час мужики застанут.

Бирюков тогда рыскало видимо-невидимо, — так рядом с войском и бежали, живых людей ели. По де-

ревне, бывало, как огни зажгутся — глазищи бирючьи светятся.

Озверели в ту пору мужики наши в погоне за неприятелем — за все выместить хотелось, ну да, конечно, и от баловства разгасились на жизнь человеческую, а главное, добро свое, награбленное Бонапартом, не упустить бы. Дядя Митрий, царство небесное, чуть голову не сложил ради баловства этого.

Поехали они на заголки и набросились на врагов, а те, видать, не сробели — оборону устроили. Один из них хватил дядю Митрия вдоль головушки — тот и свалился наземь, как сноп... Покуда что, вернулись сватья к Митрию, глядят, а голова пополам разрублена... Ну, тут ему лошадиным пометом голову умазали, да кушаком натуго перевязали... Так дяденька Митрий неделю в себя не приходил, а потом справился — отоспался, значит.

Даром это не прошло: прежнего мозга не стало — запоминать стал. А коли ненастью быть — и занает, занает головушка по срощенному месту...

Веретено мягко скоблит деревянную чашку. Снаружи, из-под обрыва доносятся удары о плетень волжской волны. Старуха зевает мягким, беззубым ртом:

— Большая ноне прибыль... Вал-от как бьет... Баню не снес бы... — Еще зевает. Вдруг спохватывается: — Спать ложись, постреленок, — опять училщцу проспирь. И огонь тухнет, — выгорел весь...

Я укутываюсь в шубенку бабушки на полатах, улыбаюсь от моего внутреннего геройства, идущего сна и от бабушкиного уюта... Огонь погас. Ко мне, засыпающему, доносится с пола прерывистый шепот:

— Всепетая... Мати... Родшая — и мягкие удары поклонов...

Это меня убаюкивает.

В поместье Тульской губернии человек, владевший моими предками, вероятно, не предполагал, садясь за карточный стол, что его игра отразится на моей судьбе, — сыграл неудачно. В результате проигрыша полдеревни мужиков и баб с детьми оказались перешедшими во владение счастливого партнера по картам, поместье которого было на Волге.

Бабушка, ее родичи и однодеревенцы запрягли сивокбурок, уложили на возы скарб и детей и тронулись в переселение.

Красоты волжских берегов, конечно, не могли особенно утешить крестьян в расставании с насиженными испокон века местами, да и слышали ли об этих красотах выехавшие в пересел? Но слух, что «земля черная на Волге, что в нее ни брось — всходит», этот слух с первых же этапов пути стал доноситься до едущих.

Мужики, как всегда в несчастье, утешались будущим, предвкушая жирную землю саратовскую.

Кроме вышесказанного, бабушка мало и кратко говорила об этом переезде. Помню только:

— Всего натерпелись — и по миру ходили... Ребятишек перемерло — страсть. Всю дороженьку крестами уметили... Двенадцать недель путь делали. На самое Успенье Волгу увидели...

Как пчелы, пересаженные в новый улей, заработали на новых местах мои родичи, оплодотворяя землю и принимая в себя ее соки.

Когда вышла воля и крестьяне завозились, — дед мой Пантелей Трофимыч, занимавшийся еще с мальчишества по плотничьему делу, перебрался с бабушкой в городок. Сколотил он своими руками домишко над берегом Волги, к нему пристроил келейку, соединявшуюся крышей с передней избой.

В этой келейке и рожусь я в свое время. Келейка, собственно говоря, предназначалась для Февронии Трофимовны, сестры деда, овдовевшей в это время, но после смерти Пантелея Трофимыча бабушка Феврония перешла жить к золовке в переднюю избу.

Дед мой умер, когда матери было семь лет. Она о нем запомнила только по гостинцам и ласкам. Другие сообщали мне о деде, что тот был маленького роста, лысоватый, молчаливый, застенчивый, но очень спорый на работу мужик, добрый и всем доверявший. Весенней порой, когда свертывает и перекашивает на Волге наезженные дороги, от берегов и посередине чернеют промоины-полыньи, возвращался дед из заволжских деревень с ободьями колес, втулками и мелким щепьем. Один наедине, попутчиков для переправы в такое время не много найдется. Дома семья,

может, пехватка в чем, на дворе светлый праздник: ехать надо было.

Спасая лошадь, намерз и вымок дедушка, но все равно домой пришел ночью, трясясь от озноба, — без воза и лошади: воз легкостью товара спас хозяина, но потопил лошадь, скрывшуюся с головой в промоине. Дед бросился спасать за дугу коня и провалился сам. Лед на Волге трещал, ухал; надо было бросить все.

Когда Пантелей Трофимыч добрался, через льдину на льдину, до берега и оглянулся назад, — воз уже крутило и уносило движением тронувшегося льда. В эту ночь Волга пошла, и в эту же ночь слег дедушка и больше не встал. В воскресенье на Фоминой он умер.

Придавила эта смерть Федосью Антоныевну с малышами на руках, но вначале помогло вот что (что характеризует для нас и покойного деда). Как только установились дороги весенние, закончился посев, стали наведывать сирот Пантелеевых мужики, то заволжские, то из уезда. Придет такой, пособолезнует вдове, ребятишкам сунет по баранке, а потом полезет за пазуху и вынет из кисета, какую ему полагается, сумму ассигнаций и скажет:

— Вот, вдовушка, тут должок мой покойному. Царство ему небесное: больно вовремя помог он мне колесьями да станом...

И Февронья Трофимовна помогала дому рукодельями и своими практическими советами ко всем случаям жизни.

О бабушке Февронии необходимо рассказать то, что я запомнил о ней и что слышал от других.

По внешности она была совершенно отлична от брата: высокая, никогда не сутулившаяся, с прядями, змеями серебряных волос, с острым, пронизывающим взглядом темных глаз. Покойный муж ее был крепостной механик по водяным мельницам.

Моя мать, боявшаяся тетки, уважавшая ее и имевшая в ней единственный источник знаний, рассказывала:

— Заболели у соседей скарлатиной. Я сбегала вечером навестить больную и вернулась. Стучу из сеней. Тетя спрашивает: — Где была? Чем больна? — Как узнала о скарлатине — хлопнула крючком и не впустила. — В сенях

переночуешь,— говорит. Утром, чуть свет, подала мне в окно мыло и полотенце: — Беги на Волгу и вымойся сверху донизу.— И, когда я вернулась, тщательно вымывшись от ногтей ног до волос, тетя впустила и разъяснила смысл заразных болезней...

Февронья Трофимовна объясняла будущий конец земли обезвоживанием. Знала расчет пасхальных седмиц. Знала месячные восходы и заходы. Когда что сажать и сеять...

Какую надо было иметь память, будучи безграмотной, чтоб уложить в себя в должном порядке такое разнообразие сведений. Ко всему этому она была рукодельница по кружевам и вышивкам.

Дикими казались среди окружающей среды эти знания и лаконический, четкий говор у простой женщины.

— Не иначе, как ведунья,— чем же ей и быть? — шептали соседи.

Но, что бы ни случилось,— бежали к ней. Февронья Трофимовна давала первую помощь больным, спасала трудно рожаящих. Не позволила схоронить одну девушку, в действительности оказавшуюся в летаргии. Но не из любви к людям, казалось, она это делает. «Люди хуже волков,— говорила старуха,— весь страшный суд для того и выдуман, чтоб усмирить их. Ведь кому и какой интерес на том свете с грешной дрянью возиться?!»

Одинокая, замкнутая бабушка Февронья не спеша, размеренно, доживала свои дни, к жизни и к смерти казавшаяся равнодушной. Она очень редко и мало говорила о своей прошлой жизни, но и в этом малом проскальзывало, сколь хорошо и близко она знала быт и привычки помещиков, вот отсюда, очевидно, и возникла у соседей догадка о ее прежней жизни.

— С барином она жила, да... Муж для видимости одной был,— говорили около.— Откуда же у нее деньги — ну-ка?

— Озолотил барин, да и со двора долой! — говорили другие.

Если в этом была хоть доля правды,— представляю я себе обиду вечную к такому любовнику в сердце Февронии Трофимовны.

Золото, о котором шептались в околотке, заключалось в восьмистах рублях, хранившихся у нее на дне кованого сундука.

Может быть, для окончательного доказательства человеческой дрянности и хранила старуха это проклятое золото, — немало через него нехорошего увидел я потом в моих близких, так и не дощупавшихся до золота, провалившегося неизвестно куда.

Из девяти детей дедушки Пантелея и бабушки Федосьи до меня дожили двое — моя мать и брат ее дядя Ваня, старше ее на несколько лет.

Захватив отца в учебном возрасте, дядя Ваня был «наставлен грамоте».

— Он ведь учен да учен, — при тятеньке дело было, а я самоучкой кое-как наскребла, — говорила моя мать на мои шутки о невероятном количестве «ятей», которые она употребляла не в тех словах, где требовалось, и я шутя же указывал на упрощенный подход к этому вопросу у дяди. «Ученый» дядя Ваня принял «яти» как неизбежное во всех словах на «е», и они у него, с навесами, как могильные кресты, создавали новую, совершенно фантастическую и неузнаваемую письменность. Дядя, говоривший мало, писал длинно и витиевато: в каждом слове и букве он старался «изобразить» значение их, их магию, заложенную не в смысле, а самом чертеже слов и букв. Из рода в род безграмотные — и вот ему первому открывается фокус записи, навсегда фиксирующей вовне имя предмета.

Уже далеко позже, перед смертью незадолго, больной, дядя Ваня сидел со мной на волжской пристани в Самаре: он провожал меня, и это было наше последнее свидание. Разговор, как обычно с дядей, происходил о «большой жизни».

— Боюсь, не выйдет, пожалуй, у меня для понятия, ну, уж вразумей. Вот что для меня непонятным, боязным кажется... Слово всякое, особенно великое слово, как я его произнесу, так за ним ничего больше и не вижу... Имя-то, вразумей ты, как будто уничтожает существо, к которому приложено бывает... Как заслонкой закрывает оно за собой живую плоть. Либо голова моя слабая, а либо — человеку запрет в слове дан... Да-с... А либо не через него большая жизнь в человеках последует... — сюда привела моего дядю Ваню зачарованность словом изображенным.

В юности Иван Пантелеич был полностью захвачен чтением «отеческих» старинных книг, благо сектантское окружение всех ересей и сплетений, в которое была вкраплена «мирская» семья дяди, доставляло богатый материал.

Я еще застал эти тайные кожаные фолианты, содержащие «кладезь разумения человеком».

Маленького роста, с двойной клинышками бородкой, застенчивый до болезненности, даже со своими, дядя Ваня вдруг становился смелым. Вспыхивала его любимая мысль.

— Хорошо бы уединиться, мамынька, — говорил он, — отойти бы от мира.

Сектантство, в его выродившейся аввакумовщине среди политиканствующих и ханжей, которыми сжаты были домики под одной крышей, гласило: все, что приятно, — то от дьявола. Проблески радости — неестественны... Смех — щекотка дьявола...

Насколько это было общим для всех мракобесов городка, — вспоминается мне законоучитель по школе, соборный протоиерей. Нам, выпускникам, он делал экскурс в область искусства, в частности в музыку:

— А вот, заиграет она, — а беси под ногами и заворочаются... А уж если песни петь начнете, — так из горл ваших хвосты бесовские и полезут, и полезут...

Хорошо было для меня такое напутствие. Ведь я в ту пору полусознательно, но был уже обращен моими надеждами к далеко маячившему искусству. Думаю, что дядя Ваня вот от этого «бесьего» мира хотел уединиться.

Это с одной стороны только представленный дядя Ваня, — а вот и другой дядя Ваня, который чинит электрические звонки. Первый пробный телефон в Хлыновске устанавливается при его участии. Дядя молчит, уйдет сам в себя, а сделает, что бы ему ни поручили. Он умел и любил работать над вещами, побеждать и обуздывать их! Дядя Ваня был для меня примером всеуменья, и, когда я восхищался, он отвечал:

— Раз человеком вещь сделана — в ней трудного для другого человека не должно быть.

Однажды, когда дядя был занят какой-то новой и сложной работой, я стоял рядом, открыв рот на бегавшие в

его руках инструменты... Дядя остановился для отдыха или для раздумья и сказал:

— Знаешь, как я сейчас подумал... Ведь можно человеку и дождик выдумать... Вразумей, — вот бы! — и лицо дяди Вани заиграло хитрой улыбкой.

Теперь напомним в заключение этой главы: линия от матери привела нас к двум сцепившимся под одной крышей домикам над Волгой и к четверым лицам: бабушке Феодосье, другой бабушке Февронье, к дяде Ване и к Анене, моей будущей матери.





Глава вторая

ПО ЛИНИИ ОТЦА

Родные моего отца были из старых обитателей города Хлыновска, осевших здесь во времена разбойные. Во всяком случае, от бабушки Арины Игнатьевны я не слышал воспоминаний ни о деревне, ни о каком бы то ни было переселении их сюда. Устные же легенды и место, где они жили, соединяющее конец осевших на выселках крестьян с концами городского мещанства, и их основная профессия — все это довольно точно устанавливает происхождение отцовской линии.

Чтобы связать окружающее в одно целое представление, мне кажется своевременным рассказать о самом городе. Теперь это захудалый, заброшенный городишко. Начало Хлыновску было положено рыбаками-монахами Троице-Сергиевой лавры на Сосновом острове, начинающемся верстах в десяти выше города и делящем Волгу на два рукава — собственно Волгу и Воложку. Эта двенадцативерстная полоса заливных лугов была и есть одно из богатств Хлыновска.

Монахи имели возможность обосноваться крепко для охраны своего осетрового и стерляжьего угодья, и под

защиту их пушек и пищалей сюда стали стекаться остатки разгромленных стрельцов, гонимые за веру и скрывавшиеся от петровских строительных и военных наборов, и против Соснового острова на горном берегу начал оседать этот разнобойный, разнотипный люд — волгари-понизовцы, и под тем же названием Сосновки начался будущий Хлыновск.

Враги, желавшие причинить вред поселенцам, встречали передовую защиту в виде тынового стана монахов-рыбаков, а поселенцы давали человеческий материал для рыбного промысла.

Защита в то время требовалась не только от ушкуйников: ушкуйник — это свой брат; погуливали с ними сосновцы, зарабатывали на зиму и про черный день. Чернецов иной раз пощупает ушкуйник, да и то врасплох ежели нападет... Опасность, и страшная опасность поселщикам была от кишящих узкоглазых монголов, населявших заволжские степи. Эти, как тараканы, появлялись на противоположном берегу, быстро налаживали бурдюковые плоты, как черные дьяволы, врываются в поселок, обирали дочиста, жгли избы, резали защитников и уводили женщин. Северная окраина города называется Маяк. Здесь была башня со всегдашним сторожем, который и следил за Заволжьем. При замеченной опасности на башне зажигался костер и бился набат. Работавшие в полях мужики бросали работу и верхами мчались к родным избушкам и вставали на защиту животов своих.

Когда наладилась жизнь, похожая на городскую, в окрестностях появились дарственные поместья, — поселок сбросил с себя Сосновку и назвался Хлыновск.

Хлыновск расположен на скате плоскогорья, спускающегося к Волге, и окружен амфитеатром меловых и песчаных гор, густо заросших строевой и мачтовой сосной, со сверкающими среди леса просветами меловых оголений.

На севере вдвинулся в Волгу Федоровский бугор, от него по окружности к югу: Таши — оголенная меловая глыба, изъеденная труднейшей по подъему дорогой Сызранского тракта. Дальше — Богданиха, с дорогой через нее по уезду и на Кузнецк; еще южнее Четырнадцать Братцев — горы и за ними Черемшаны, в укромных улесьях которых засели невидимые Рогожские староверческие

скиты, с бьющими огромной силы родниками радиоактивной воды.

За этой сказочной панорамой начиналось гладкое плоскогорье — Ровня.

В меловых залежах гор — кораллы, звезды и трубчатые морские образования. Под склонами гор били чередующиеся друг за другом ключи: Виниовский, Камышинский, Гремучий, Красулинский, и по городу умной заботой стариков по бесчисленным бассейнам зажурчала и заплескалась прозрачная, холодная, ледяная зимой и летом вода. Вокруг города на покатосях и по долинам раскинулись яблоневые сады с их знаменитым «анисом», «черным деревом» и «скрутом».

— Если бы это у нас... О, если бы это у нас — что бы мы с этим раем сделали! — говорили мне друзья-иностранцы, посетившие со мной этот городок и его окрестности. Настоящие же обитатели этого рая даже иллюзий насчет своей райской жизни не имели. — Эх, не жизнь, а каторга... Кабы дорогу чугунную провели, — вот-то пошло бы золото, — говорили обитатели.

Окраины городка, отмеченные возвышенностями, шли по полуокружию в таком порядке: от Маяка шли Попова гора, Горка с татарской слободкой, Репьевка, Бодровка, Малафеевка, Вольновка, Камышинка и замыкали собой центр городка с собором, базаром и учреждениями. С береговой стороны на ровном отмывном обрыве, укрепленном плетнем и камнями, как крепостные стены, стояли, вытянувшись в ряд, лучшие постройки Хлыновска — его хлебные амбары.

По занятиям жители осели так: на Маяке — рыбаки; на Горке — ремесленный люд и татарская беднота с коновалами, тряпичниками и с бесчисленной детворой; внизу в извилинах Горки уместились домики с красными фонарями и с цветными занавесками на окнах. На Бодровке кузнецы и мордва, занимающаяся отхожим промыслом и прасольством; на Малафеевке осели крестьяне-земледельцы; на Вольновке жили родные моего отца, о занятиях которых будет сказано ниже; на Камышинке — хлебопеки, булочники и крендельщики.

В центре торговали, управляли, — здесь попадались и каменные дома не больше двух этажей. У собора расположились дома чиновников и помещиков; базарную площадь

обступали дома мелкого и крупного купечества. Главной улицей была, как полагается, Московская, она же Дольная, почти одна с грехом пополам вымощенная до выезда из города. За ней, ближе к Волге, шла Купеческая, срывавшаяся в Камышинское болото и выныривавшая за хибарками и оврагами, чтоб зеленой по весне и непроходимой по осени добежать до келейки и на следующем квартале уже окончательно ухнуть в огромную, вековую промоину, называемую Врагом. Третьей от Волги была Дворянская; четвертая, уже плутовавшая направлением, — Телеграфная, а Проломная и Репьевская уже были пустырями, прогонами и тупиками.

Поперечных было больше, их названия столь общи для всех городов того времени, что не стоит перечислять их, а в нужном месте они и сами назовутся.

Вольновка — одна из самых старых окраин Хлыновска. В давнее время это место с разбросанными по лесу избами-зимовками было отделено от Маяка диким бором, тянувшимся от гор и до Волги.

Этот бор с просекой в одну лошадь, для проезда, приводил к путаному разнолесью по Камышинской Топи, проходимой лишь зимой, да в обход. Вольновка имела открытый выход на Волгу с берегом, имеющим всегдашний причал, независимо от спада и подъема воды.

Какой бы то ни было, но помимо Волги летний тракт Саратов — Самара существовал, продираясь лесами и нагорьями берега, проходили им товарные обозы... В горах — потаенные ущелья — сам черт не сыщет кладов... Чем не место?

И гуляющая Струговщина избрала Вольновку одним из многих этапов Поволжья.

В сорока верстах от Вольновки находился Лысый Враг, один из центров сторожевых разбойничьих пунктов. Там совершались ватажные налеты, здесь — отдых, любовь, пьянство для молодых и оседка для тех, у которых «плечи веслами умотались, честным трудом захотели помяться...».

Оседал свой, надежный народ. В то время и появилась на Вольновке «девка Чернявка». Привез ее разбойник,

сруб поставил на трех окнах, наказал любить и жаловать, вернуться скоро обещался. Чернявка вскоре понесла девочку, назвала ее Ефросиньей, а разбойник так больше и не явился: дело разбойное гиблое...

Чернявка за ум взялась, начала дочь выращивать, и ни себя, ни других не щадила для этого: водка пошла с Вольновки такая, что после нее царской и в рот было не взять.

Вырастила Чернявка дочку, замуж отдала — и вдруг как сгинула. Все бросила и исчезла; то ли тебе в монастырь-скит ушла, то ли в низовья к морю Хвалынскому убежала...

Ефросинья и стала матерью моего прадеда Петра, артельного бурлака нашего плеса, его сын дед Федор эту же профессию сделал оседлой для своих нисходящих: он был ссыпщик хлеба или грузчик. Трезвый, рассудительный Федор Петрович, выделившись из семьи, сумел оставить вдове с сиротами двуполовинчатую избу, в которой родится и вырастет мой отец.

Занятие грузчика требует большого расчета в управлении не мускулами только, но и всем организмом. Неопытный берет на силу, но сила играет роль только в «мертвый момент» действия на человека груза, основная же задача заключается в построении из ног, спины и шеи таких осевых взаимоотношений, которые бы давали телу не статический упор, как колонна, например, — а спирально вращательное движение, как бы высвобождающее от груза организм — отсюда и условие: чтоб ни один сустав не хрустнул к моменту принятия тяжести. Если вам удалось наблюдать основательно за работающим, от вас тогда не скрылось следующее: согнутый грузчик, опершись *не твердо* на ноги, принимает на себя ношу, слегка пошатываясь, к моменту выпрямления это движение увеличивается, но приобретает другой характер: это уже движение не отдельных осей, а движение, скоординированное в высвобождающее из-под груза, движение — *полета*. Когда грузчик пошел — ноша будет доставлена куда следует. Момент первого шага решает дело. И вот, как и которой ногой открыть движение, для этого существует опытная теория, которую мне не раз приходилось слышать и от дяди Григория и от других матерых специалистов.

Мне пришлось быть очевидцем двух смертей. Это случилось с опытными работниками. Груз был в обоих случаях до 12—14 пудов, вес солидный, но не рекордный, так что особенно выдающегося в переносе ничего не было. Первый поднялся с ношей по сходням — была погрузка баржи, — дошел до места и свалил тюк. Выпрямился, побледнел и штопором опустился на слани. Вытянулся, изо рта показалась кровь, и, покуда искали ведро воды, — грузчик был мертв. Это был очень редкий случай смерти в практике грузчиков.

— Эх ты, миленок, с левой руки *бсек* сделал, так твою растуды... — нежно сказал над умершим товарищ, снимая шапку.

Во втором случае грузчик принял груз, сделал только один шаг, потом каким-то вырывающимся движением сбросил ношу, взметнул руки кверху, как на гимнастике, и хлопнулся навзничь... Только один слабый стон — и смерть. Это был *бсклиз*: резкая, до срыва, сдвижка одного позвонка на другой.

Эти два классических примера профессиональной смерти наглядно показывают причину, их вызвавшую: и в том и в другом случае было сорвано движение полета; «летности потеряли» — говорят в таких несчастиях. Кажется бы, дыхание играет огромную роль при работе грузчика, но вот что говорят о нем:

— Дышание — это плевое дело. Ротом не всасывай только, дыши, как бы в воде плывешь.

Грыжа, опускание желудка, срыв почек, эти явления — обыденные, но свойственные, главным образом, неопытным или начинающим работникам.

Дедушка Федор умер иначе. Силач. Росту — без пяти вершков. Стройный, с напряженными плечами и грудью и, как все сильные до отказа люди, — добродушный и бережно относившийся к слабости других. Его выдающаяся сила не позволяла ему участвовать в кулачных боях — «стена на стену», но одно его присутствие вдохновляло и делало победителями вольновцев. И вот произошел такой случай во времена молодости Федора Петровича.

Бой шел по масленице на Волге. Бодровцы наступали с юга, вольновцы с севера. Дедушка стоял на берегу со стариками, оценивая и обсуждая положение бьющихся. Поло-

жение было без видимого перевеса сторон: «стены» как бы играли вничью, но вдруг, неожиданно для вольновцев, с той стороны выступил, очевидно скрываемый доселе про запас, новый боец — мордвин из Опалихи: ростом с деда, но крупностью и медвежестью превосходивший Федора Петровича.

Стена дрогнула. Силач мордвин, как бы нехотя, шутя, валил передних. Вольновцы побежали. Тогда боец сделал знак своим — бодровцы приостановились, — мордвин пошел один на стену врагов: было видно, ликовал своей силой парень. Почти у стены изумленных противников молодец остановился, скрестил руки и крикнул — «нападай»...

Сначала, кто посильнее, а потом и целой кучей навалились на него вольновцы. Опершись ногами и упрятав голову к груди — боец стоял как бык, но вот один момент — и он стал отбиваться: полетели, как поленья, над его головой противники. Тут и стена бодровская бросилась на врагов — произошло стыдное, повальное бегство вольновцев к береговому обрыву. Перед обрывом нападавшие остановились. Из толпы выделились несколько человек, и начался, очевидно, по заранее обдуманному плану, ритуал поношения:

— Федька-то ваш что смотрит?

— Дрянь Федька — ломанья напускает. Силача корчит. Девкина порода, так его так...

У деда только бровь, говорят, вздернулась от последних слов. «Девкина порода» — иногда шепталось врагами за спинами, а тут впервые на миру было брошено в упор Федору.

— Вот он боец так боец, — кричали враги, — на левую руку тебя вызывает. — Мордвин кивнул головой.

— Федяха, миленок, как это так... — заговорили старики, — неужто обиду снесем?.. Растуды их так, брехуны они. Да как же нам на всю жизнь от зазора такого очиститься?.. На базар не показаться после этого. Вдарь, вдарь разок, батюшка Федор Петрович.

Враги не прекращали брань.

— От суки сын ваш Федька. Над ребятишками ему в кулачки играть, так раз-этак...

— Федяха, дружок, миленок!.. — задыхались от позора старики.

— Эх, так я пойду за обиду твою! — взвизгнул один из них и направился сквозь толпу.

Федор одернул старика на место, вышел к обрыву к берегу и крикнул:

— Ладно, ребята, — вызов беру, только и мое условие ставлю.

Толпы обеих стен притихли. Федор продолжал:

— Биться один на один — до трех ударов — по очереди. Бить по обычаю. Ни кистенев, ни рукавиц чтобы... Ни о ком не подумали бы злого чего...

Толпа зашевелилась и загудела всей массой.

— Начинать кому? — крикнул мордвин.

— Начинать по жеребью... — ответил Федор.

Выбрали место. Толпа сделала собой круг. Противники сняли полушубки, рукавицы, шарфы и шапки. Вынули жребий. Начинать приходилось мордвину. И вот два механически совершенных образца человеческой породы встали один против другого...

Толпа замерла окончательно.

Федор очень мало расставил ноги, чтоб иметь упор; сложил на груди руки и едва заметно покачивался. Мордвин засучил рукав рубахи.

— Ну, ежели Богу твоему веришь, — молись! — сказал он.

— Не тебе, брательник, скажу, верю ли в Бога, — отвечал Федор.

Мордвин, как медведь, ошарил возле своей жертвы, выбирая место для удара, и — ударил, с этим типичным гортанным выкриком рубщиков леса: г-гах...

Удар был в левый бок, под сердце. Такие удары вгоняют ребра в сердечную сумку и рвут легкое при неопытности принявшего удар, но Федор принял его как груз. Он взметнулся на бок, сделал несколько волчковых оборотов и грохнулся на снег. Зарычал, чтоб скрыть боль, и медленно стал приподниматься на руки и сел на снегу. Лицо было окровавлено падением. Он наскреб рукою снега и стал жадно его глотать и снегом же растер себе лицо и голову, и только после этого он улыбнулся обступившим его друзьям.

— Федяга, ну как ты?

— Жив... — ответил Федор, — парень хороший боец... ну, да жив вот...

— Будет, что ль, ответ давать ваш-то? — крикнули бодровцы, — аль с копытьев долой?

— Буду! — сказал, поднимаясь на ноги, Федор Петрович.

Теперь, упершись, словно вросши в землю, встал мордвин.

— Ну, прости, брательник, коль причина случится... Не я зачал — сам видел... — сказал Федор, подходя к противнику. Вытер наотмашь кровь с лица и приготовился ударить.

— Бью, брательник...

Раздался хляск, и тихо, непонятно медленно повалился на месте богатырь. Ни звука голоса и ни стопа не издал свалившийся. Удар был височный, результатом его была смерть.

— Как же умер дедушка Федор, отчего умер? — допрашивал я бабушку Арину Игнатьевну.

— Смерть пришла, внучек, оттого и помер, — отвечала бабушка со своей манерой не отвечать сразу, а потом рассказала: — Подкатывало у него в левом боку, не от работы, ничто, а беспричинно... Сказывал покойный, что-де от мордвина у него памятка осталась... А уже чего не памятка — такой замятни ему наделал удалец опалихинский. Покаяние там церковное это уже само собою, а денег этих что Федор перевозил в Опалиху — сиротам: без заставы всякой — от сердца ублажал потерпевших долю сиротскую. Говорили, я чаю по сплетенному делу, будто на вдове жениться хотел — Федор-то Петрович, да не судьбе так быть, значит — я подвернулась в жены-то...

Бабушка помолчала. Оправила под волосником гладко убранные волосы и продолжала дальше:

— Ну, вот, пришел Федор с работы, перед заговеньем Филипповым, сел на лавку, опустил головушку. Что, говорю, с тобой, Федор Петрович? А он: ох, говорит, Аринушка, плохо что-то мне... а руками голову поддерживает...

Собрала я поужинать. Похлебал он щец, да каши гречневой покушал и прилег на лавке.

Ты бы, мол, Федюша, на кровать расположился, коль недужится очень, а он рукой махнул: томит-де уж больно...

Я туда-сюда. Уложила ребятенка на полатах. Посуду прибираю за перегородкой вот этой. Думаю, приберу посуду, да сбегаю на погребицу за капустным рассолом, а он, сердечный, как взноет: батюшки, Аринушка... Бегу, а Федор Петрович на ногах стоит, о стену опершись, а руками нутро разрывает... Я в обмычку поддерживаю его... Сполз он на пол по стенке; бледный — лица нету, и мне уже в шепоте говорит: «Умираю, Аринушка... На тяжелую жизнь оставляю тебя с малыми...» Только его и было.

Старуха не смахнула слезу — и она долго искрилась на ее щеке... Помолчала. Вздохнула.

— Да, внучек, не дай бог злему врагу столько тоски хлебнуть, сколько мне пришлось после мужа любезного... До того дело дошло — чужому и не выскажешь. Приходит, бывало, час, улягутся ребяташки, а я сяду на лавку как очумелая и жду... И хлеб-соль на столе поставлю. А он в сенное оконце: тук, тук, и — входит, сокол мой ненаглядный... За стол со мной сядет, а уж я смотрюсь не насмотрюсь на него... Слезы так и хлещут... Как запоет петух, — как свечка загаснет, все и нет его... Обымать даже пыталась, а он отстраняется, спину-де зашиб — не трогай, Аринушка...

Привороты-отвороты разные пытала, и вот одна баба заовражинская и поведала мне: «Ты, — говорит, — бабонька, со спины его ничего не узнаешь... Сделай так, как я скажу тебе: сидеть, беседовать будете, а ты в нарочно и урони ложку, или что там другое, на пол... Потом наклонись к полу, чтоб поднять, — там тебе и будет все: либо такой, либо этакий окажется гость твой...». Да что говорить-то, и сейчас вспомнишь, так по спине озноб ходит...

— Бабушка, а дальше что было? Бабушка, милая... — начинаю ласкаться я к бабушке.

Арина Игнатьевна оправилась, отерла лицо белым с розовой каймой платком и посмотрела с улыбкой в глубину моих глаз.

— Аль больно знать надобно?.. Ну, что же, ты у нас особенный, кречетом из нашего гнезда вылетел — только сердце не отворотил...

— Ну, так вот, — просто и коротко закончила свой рассказ бабушка, — уронила я ложку, как приказано было, —

наклонилась за ней к полу, а под столом хвостище, как змея черная... Грохнулась я об пол да уже в больнице только и пришла в себя... Шесть недель в жару находилась, а после — как отрезало...





Глава третья

ЛИНИИ СХОДЯТСЯ

Отцу моему было около четырех лет, когда умер дедушка Федор Петрович. Он был самым младшим среди братьев. Арина Игнатьевна целыми днями работала по людям, чтоб прокормить и вырастить четверых сирот.

Дети были предоставлены самим себе, босые, в одних рубашонках боролись они с переменахми зимы на лето. Сергею, как самому маленькому, чтоб не отстать от старших, было всех труднее в этой борьбе. Все детские болезни перенес он, до того как стал себя помнить, за ними последовали и тиф, и дифтерит, и «горячки».

Мой отец не любил рассказывать о своих несчастьях даже своим близким, но сведения о его детстве от посторонних заставляют удивляться, каковы должны быть запасы наследственного здоровья, чтоб оставленному без помощи ребенку среди этих полчищ бактерий и микробов выжить, победить их. Результаты сказались, — отцу впоследствии недоставало как бы некоторой доли водкинской силы, по сравнению с братьями.

Когда старший брат отца Григорий Федорович был принят артелью на ссылку как полномощный работник —

положение в доме полегчало: стало возможным подумать и о девятилетнем Сергуньке. Попыталась Арина отдать сына в школу, но из этого ничего не вышло — у мальчика от всякого условного восприятия-образования буквами слова начинались головные боли. Это было понято как лень, — Арина Игнатьевна жестоко наказывала сына. Как к самозащите, мальчик прибег к хитрости: направляясь в школу, он шел на Волгу, где работали уже оба брата, складывал в укромное место под амбар орудия учебы и начинал привыкать к вольной родной профессии, восстанавливая утраченное здоровье и закаляя мускулы. Ученье было оставлено...

На семейном совете брат Григорий сказал: «Слабоват он, боюсь, мамаша, для ссыпки, в нем выдержки жильной не хватит, Сергуньку бы к ремеслу какому ни на есть припустить».

Арина нашла совет резонным — отец был отдан в ученье к сапожнику.

В России существовало поверье: не все пьяницы суть сапожники, но все сапожники — пьяницы. Акундин, сапожный мастер, был пьяницей в широком, затяжном смысле этого слова.

Варка вара, кручение дратвы со вставлением в нее свиного волоса; дальше мочка и растяжка товара; потом шов голенища; все эти первоначальные дисциплины прерывались бесчисленными антрактами для беганья к «Ерманихе» за шкаликами. И когда оказавшийся смышленным ученик дошел до кройки подъема и до заканчивания целого сапога, он уже не уступал и по шкаличной части своему учителю. Плохо кончил Акундин, сапожный мастер. Надо сказать, отец всегда относился с почтением и с благодарностью к своему учителю и нет-нет да принесет, бывало, об Акундине весточку, а весточки становились все хуже: «мерещиться стало Акундину», «в больнице от пьянства лежал Акундин». Однажды отец вернулся с базара бледный, взволнованный, прямо с места события: Акундин зарезал в куски жену свою кроильным ножом, исполосовал самого себя и в страшных муках умер, побежденный водкой. С этого дня отец навсегда перестал пить. Что касается ремесла, ученик его честно воспринял от учителя формулу: прочность сапога — залог его долговечности. Деревенские заказчики были без ума от работы от-

ца. Им он главным образом изготовлял «холодные калоши» — это чрезвычайно портативный вид обуви, главным образом для грязного времени. Удобство их надевания: стоят такие калоши, воткнул в них с налету мужик или баба ноги и пошел. Размер их также большой роли не играл: в больших калошах мог и ребенок передвинуться через мокредь, если, конечно, у него хватало силенки вытянуть их из грязи.

— Обувка неизносная, можно сказать, — говорили деревенские. — А прочности такой, что брось их о камень — так зазвонят от прочности.

Этим качеством был вправе гордиться мой милый мастер. Кожу он умел выбрать: до упокоя души хватит, — как определял он ее сам, поглаживая и охорашивая черный, как смола, товар, прежде чем приступить к работе.

Из-за этой же прочности происходили иногда и недоразумения, конечно, только с городскими заказчиками. Городской от сапожника также прочности сапог просит, но, кроме этого, чтобы и легкость была и форс, особенно бабы-молодухи, те, можно сказать, птичьего молока от башмаков требовали. Придет, бывало, такая — и ну щебетать с надрывчиками:

— Батюшка, Сергей Федорыч, да ведь не поднять их с ногой-то, от полу не оторвать — такая тягость.

— А тебе из бумаги бы их склеить, — урезонивал заказчицу отец. — Поди базарную купи обувь — кардонку тебе положат вместо стельки. Я бы тебе тоже легости напустил, да в глаза-то тебе как после смотреть?

Второе, чем отличался отец, это точностью меры. Иногда мать со стороны скажет:

— Да ты, Сережа, на мозоль прибавил бы мерку, видел, нога-то какая у мужчины...

Отец не сдавался: точность меры для него была закон.

— Раз мозоль есть, так срежь ее, не по мозоли мне сапог уродовать, его же засмеют, да и мне стыд будет, если я ему по мозолям выкройку сделаю.

Так же отец резонил и заказчика.

— Да оно, конечно, — печально соглашался заказчик, — что говорить, фасон что и следует, но жмут больно очень. Иной раз, не поверишь, за сердце ущемит, такой жом...

— Ну, об этом, милый человек, беспокоиться не из-

воль, — добродушно отвечает отец, — разносится. Заметь, чем больше он ногу жмет, тем больше ему нога сопротивление оказывает, — как же не разносишь: против людского упора никакая кожа не устоит...

Успокоенный заказчик уходил, незаметно похрамывая перед встречными, восхищавшимися блеском сапог и их форсом.

Но что прочность и что блеск по сравнению с сознательным применением к сапогу «форса», которое вправе было считаться изобретением отца и которое сделало его популярным на окраине мастером — он стал создателем этой моды.

Форс, или скрип, образующийся в сапоге от трения стелек о подметки и возникающий случайно, конечно, ничего особенного не представляет, иногда это просто несчастье, от которого невозможно вылечить сапоги, — бывает ужасный скрип. Это хлыновцы поняли после того, когда услышали организованный скрип бодровских парней-форсунов, обутых моим отцом: идет, бывало, молодчик с другой окраины и тоже со скрипом, а сапоги его и скрипят: «ду-рак, ду-рак» — тут и мальчишки и взрослые подымут форсуна на потеху, тот то на траву переметнется, то в пыль самую залезет, чтоб «ду-рака» этого в сапогах заглушить...

Отец подошел к производству форса как к звуковой выразительности, его сапоги звучали как по камертону.

— Эх, поют сапожки-то — сердце радуют... Девки от форсу млеют, — говорили знатоки. Скоро весь город был охвачен этой модой.

Свои «форсы» отец узнавал в любой толпе. Бывало, возвращаемся ночью. Во тьме, на другой стороне улицы, слышно, скрипят сапоги.

— Василий Рожков идет, — сообщает мне отец. Потом прислушается: — Сдал сапог, — правая нога сдала — слышишь, ноту не доводит. Не иначе, вовнутрь стаптывает... — И потом уверенно кричит в темноту: — Василию Дементьевичу почтение нижайшее.

Люблю до сих пор обстановку и запах сапожничанья. Кожи, вар, лак — бодрящие меня запахи. И отца вспоминаю по ним, с его открытой улыбкой, добродушным юмором и рассеянностью.

Сидит он за верстаком с сапогом, зажатом в колени. Голосом от октавы до фальцета поет:

Жила-была красавица,
Разбойника дочь.
Она была смуглявая,
Как черная ночь...

Мать убралась. Шьет, штопает у стола. Подпевает мужу.

— Да что ты, Сережа, то хрипишь, то бабьим голосом воешь. Пел бы серединой...— скажет мать.

— Серединой, Анена, никак невозможно, голосу в горле тесно, то в небо, то в глотку бросается: тут ему и сила разная...— отвечает, делая серьезную гримасу, отец.

Часы, с подвязанными к гилям тяжестями, спешат, спотыкаются от тиканья. Вдруг захрипят и, как дворняжка, сорвавшаяся с цепи, начнут отлаивать часы. Отец недоверчиво взглядывает на них.

— Не забыть бы керосином смазать...— говорит он как бы себе.

— Замучил ты их совсем,— говорит мать.

— А разве плохо? Ты посмотри, старуха,— часы нам ровня, а в ходу за ними молодому не угнаться... Ну, а керосинчиком их надо побаловать... Слышишь, минутная шестерня цепочку сбрасывает: опять окаянный таракан в колесе засел где-нибудь...— По ассоциации о часах отец продолжает: — А что, Анена,— запомнил я,— задолго до Кузи купили мы их?

Мать вздыхает и отвечает точно и с торжественностью:

— На пятый месяц три недели в тягостях ходила...

— Да, да,— обрадованно вспоминает отец,— с работы мы шли. Разделили деньги. Выпили на лишек... А у меня так и бьется в голове: часы да часы... Артель — свое дело, еще да еще выпить, а мне никакого удержу нет: чего доброго, лавки закроют. Оставил денег на складчину, а сам побежал... Выбрал вот их, под мышку взял и ног под собою не чую... И часы бы не разбить, и тебя скорее порадовать хочется, и сам в нетерпенье...— Отец помолчал, растянул задник на колодке и укрепил его. — Вот ты и поди,— задумчиво, раздумывая, продолжал он. — Иной раз в голове просто разрывается, чтоб другому хорошее что передать, а сунешься до человека и выражения не поды-

ищешь... Да... — Но сейчас же заулыбался и опять о часах: — Место я им заранее придумал в келейке: на косяке, против окошка... Тебе и сказать не хочу — дело в чем: лежала ты тогда, а к двери тебе не видно... Ты мне с кровати говоришь: пицца на шестке стоит, ешь, мол. Ну, какая еда тут? Вколотил гвоздь, прицепил гири, маятник и повесил... Дошло дело стрелку ставить, а время и не знаю сколько. Ну, думаю, ладно — пусть будет семь, без чего-то... Пустил маятник — часы и затикали... А ты с кровати...

— Сразу догадалась я, — перебивает мать, — тренькал, тренькал ты ими, а мне тогда не до часов было.

— А когда часы бить начали? — хитро улыбаясь, спрашивает отец.

— Да, да, — встрепенулась мать, — ведь вот совпало как...

— Пружина дзинь... — продолжает отец.

— Да, да, — перебивает мать, — а он в это время под сердцем — тук, тук, ножонками... В первый раз зашевелился...

— Вот они какие, часы, — победоносно резюмирует отец, стряхивает обрезки кожи с фартука, свертывает козью ножку, сыплет в нее полукрупки и идет курить к печной отдушине. Вертушка сопит, трещит, и разлетается искрами махорка. Клубы дыма рвутся в отдушину... Мать вздыхает:

— Не ждала, не гадала, что за тебя замуж выйду.

— Судьба зла — полюбишь козла, — делая гримасу сожаления и подражая вздохом жене, говорит отец и продолжает шаловливо: — А меня, думаешь, спросили? Мамаша с вечера сказала: слышишь, Сергей Федорыч, если ты завтра напьешься, так я шкуру с тебя спущу и на глаза больше не показывайся... Хорошо, отвечаю, мамаша... Ну, так вот, завтра смотрины. Вдовы Пантелея Трофимыча дочь Анну смотреть будем... Ладно, говорю, мамаша... Вот и дело было сряжено, а мою суженую только что в лесу тогда встретил, да и то ни ножек, ни рожек не запомнил сквозь сон мой лесной... А на смотринах увидел и думаю: «Ну что же, чем не жена: щупленькая, хрупенькая — за пазуху положу — и тепло, и не тесно».

— Ну, болтушка, — а на Малафеевке чего рыскал? — не без кокетства спрашивает мать.

— На Малафеевке? — Отец сквозь улыбку деланно морщит лоб. — Не помню, по хорошему делу, верно, бывал, раз говоришь — бывал: молодцу пути не заказаны, женушка.

— Ох, уж если бы знала пьянство твое — в Волгу бросилась бы, а не пошла, — решительно заявила мать.

— Эх, Анна Пантелеевна, если бы от нашего пьянства в Волгу бросались, так от девок пароходам ходить бы негде было, — шутил отец, — а вот где бы тебе второго такого молодца найти? А?

Мать розовела лицом. Бросала на отца скользкий взгляд и выдавала свое женское сердце. Отец заслуживал этого.

Перенеся всякие хворости и недуги детства, отравляемый чуть ли не с детства же водкой, Сергей Федорыч все-таки выровнялся, — порода взяла свое. Вершка на два уступающий деду Федору в росте, он был стройный. Нависшие черные брови над стального цвета глазами, прямой с небольшим изломом нос, тонкие губы Водкиных. Навислость бровей, казалось, должна была давать сумрачность его лицу, но лицо детски доверчиво смотрело на вас. Он не мог долго не улыбаться перед собеседником, и казалось, все дурное в человеке не достигало его внимания.

Смерть отца раскрыла вполне его отношения к людям. К его гробу сошлись неведомые и незнакомые люди, оказывается, каждому он чем-то помог — не деньгами и не советом умным, а вот каким-то простым, глубоко человеческим вниманием и прикосновением к другому.

Отец обладал удивительным чувством общительности и всегдашним стремлением к какой-то идеальной артельности.

Мать моя в свободную минуту любила поговорить, обсудить и поплакаться о своих и чужих бедах. Любила расставить в порядке людей и события, чтоб они не путались между собою и стали ясными порознь. По одному какому-либо остронаблюденному признаку незначительное событие или человек приобретали характеры типов. Звучали голоса, мелькали жесты изображаемых людей. Все становилось большим, как в увеличительном стекле, приподнятым становилось и смешное, и чувствительное.

— Гарасимовы купили самовар, — рассказывает мать, — ребенок в кори лежит, — не до него им: с раннего

утра до обеда пьют чай... Мокрые, потные и все в окно выглядывают — не зайдет ли кто. Мучаются, наливаются горячим, а соседи и не замечают гарасимовского события. Наконец не выдержал сам Павел Макарыч,— вышел к завалинке. В распояску, ворот настежь, с волос и с бороды пот течет, рубаха мокрая. Отдувается Павел Макарыч, рубахой над животом машет... Ну, вот и счастье привалило: проходит кузнец знакомый. Просиял Павел Гарасимов. Пуще отдувается, рубахой, как поддувалом, работает. И сразу кузнецу:

— Чай пьем. Все утро чай пьем — самовар купили...

Что касается рассказов матери о бедах, они часто приобретали такой безысходный характер, так некуда, казалось, деваться от ужаса и горя жизни, что замирало сердце. Пред вами разворачивались дикие, грубые взаимоотношения людей между собой. Безнаказанные мучители, беззащитные жертвы, четко разграниченные, зывали вас на мщение и на помощь страдающим...

От человека страдали и деревья и животные, но и сам человек был жалок и беспомощен в рассказах матери. Выхода мать не искала и не подсказывала его в наблюдаемых ею коллизиях жизни.

Сильно и много бороздили детское сердце эти образы — они были для меня школой по восприятиям резко колеблющихся эмоций. Это меня делало нервным, но это же и развивало во мне остроту восприятий и раннюю наблюдательность. Мать так же остро, поселяя в них человеческие переживания, относилась к пейзажу, растениям и в особенности к животным, космос для нее был единым целым с огромным бьющимся человеческим сердцем внутри его, и здесь у нее был какой-то особенно верный подход, уничтожающий грани между жизнями. Недоноски-цыплята приходят ночевать к ее изголовью; петухи взлетают и поют на ее спине, когда мать готовит птичий корм. Дикая, молодая лошадь, сорвавшаяся с недоуздка, радостно ржет в поле и бежит на голос матери, чтоб вытянуть голову на ее плече. Собака скулит, не подходя ни к кому, ожидая мать, чтоб протянуть ей для лечения окровавленную лапу. Наконец, укушенная бешеной собакой Белянка — телка, беснующаяся от мучений, кидающаяся на всех,— останавливается перед матерью как вкопанная и принимает последнюю ласку, чтоб умереть под глядящей ее

рукой — близкой к «своей» матери. Растения от черенков, от пеньков, сунутые в любой черепок с землею, принимались под рукою матери. От одного такого обломка, поднятого на улице, разрастается ее знаменитый на весь город филодендрон, чуть не на глазах выпускавший колена и разворачивавший огромные листья. В свое время я специально обмеривал в ботанических садах Москвы и Петербурга размеры листьев лучших филодендроновых экземпляров, и они уступали нашему хлыновскому отщепенцу. В доме, как в тропическом лесу, трудно было пробраться от вьющихся, тянущихся и распластывающихся растений: нежнолистые пальмы, олеандры в розовых платьях, целое дерево стройного пахучего лимона с крошечными лимончиками.

История последнего дерева такова. Уезжая с каникул в Москву, закончив последний стакан чая, сунул я машинально из обсосанного мною лимона зернышко в землю близ стоящего цветка и, уже потом, много лет спустя, залюбовавшись на красавца-деревцо, спросил мать — откуда оно, и матушка рассказала мне историю «кузино лимона».

Домовитость доходила до мелочей: чтоб ничто не пропало. Хворостинка беспризорная имела свое назначение, старому гвоздю, оборвышу материи, всему находила мать место и применение.

Глубокой осенью, уже в обнаженном саду ходит моя старушка с палкой, роется возле яблонных стволов — не попадется ли где яблочко.

— Что ты, мама, какие тебе тут яблоки, понапрасну спину утомляешь, — кричу я с балкона мастерской.

— Не говори, сыночек, оно вот тут возле яблони укроется, его и не увидишь сразу... Вот уже три нашла, — показывает она яблоки. — Ты рассуди сам, — ведь эти яблоки погибнут ни за что, а соберешь их, они на пользу пойдут...

Домовитость у матери по крестьянской линии.

— По колоску, по зернышку, а сбькали целую страну мужики-то! Как вот ее ни расхищала, ни продавала военщина всякая, а она, матушка, от моря до моря рожью да пшеницей распласталась... — говорила мать. — А уж в такой необъятности легко и Ломоносову и Пушкину великие дела совершать...

Весь дом, полный сиротами, после дяди Вани принятыми ею к себе, обслуживался руками матери. Жадность к делу. Вечная занятость. Чуткий сон — успеть бы вовремя. Кто-то закашлял — не заболел бы? Не перекисло бы тесто... Болезненно замычала Красотка, уходя в стадо. Выбилась пакля из дома... Ржавеет крыша... Вечные заботы матери, вечно в колесе труда.

Просыпаются в доме, а у матери уже весь двор напоен и накормлен, хохлится довольная птица, играют рожками молодые козлята, воркуют под сараем зобастые голуби, и уже трещат в масле пухлые лепешки для людей, и фыркает на горячих углях изготовленный самовар...

От матери я получил стыд к пустому, бездельному времяпрепровождению...

Вернемся назад. Домишки под одной крышей находились внутри двора по границе с соседями. Окна передней избы выходили на Волгу. Место, бывшее целым душевым, было урезано за вдовство Федосьи Антоньевны уступкою частичных участков. На них были поставлены две избышки. В одной из них жил караульщик Андрей Кондратыч, который появится ниже действующим лицом возле моей жизни. Другая постройка была в стороне и не касалась нашего двора.

От избы бабушки шел уступами к Волге обрыв. В верхней его части был садик с двумя яблонями и грушей, с малинником, крыжовником и смородиной. Ниже, по скату обрыва, сажались тыквы: на рыхлой земле, на припеке бабушкины тыквы достигали огромных размеров и яркой окраски. Здесь же садили картофель. Еще ниже отделялся плетнем заливной огород. К обрыву на высоких сваях приткнулась банька — детище дяди Вани. Весной в этой баньке — как на лодке: по узкому, в две доски, насту спускались к дверям, а под передбанником и под теплушкой лизала пол, булькала и плескалась вода. Над баней вяз раскидывался листвою ввысь и мощным стволом поддерживал сваи от смыва их внешней водой. Огород тянулся до нижней береговой дороги. Главной овощью этого огорода были капуста и огурцы. Моя мать выросла на примере ее матери Федосьи Антоньевны. С ранней весны: рассада, посадка, полив, до дома приступа нет.

— С капустой вот как измотаешься: и листочки оправ-

ляй, и жука и черву разную не допускай к листу капустному, — говорила бабушка. — А огурец, этот и вовсе что малое дите: то ему жарко, то холодно. Камушек у корешка встретился — болезнь. Не долил — вянет. Перелил — чахнет. Ну, а если на него потрафишь, так он тебя отблагодарит: сладкий, ровный, в засол хрусткий, что тебе свежий.

Домовничает Февронья Трофимовна. Уберет в избе начисто. Обед в печь поставит и усядется на завалинке над огородом с рукодельем: и крестом, и гладью, и просветом драгоценит она вышивками холсты и полотна. Мать и дочь услаждают огородную землю, холят несмышленную ботву выползающих огуречных росточков. Худенькая, быстрая Аненка стреляет огородом, поспевая за матерью. Извивается под коромыслом, таская ведрами теплую илистую воду Волги. Аненка еще находит время сбегать наверх к тетке к ее рукоделью — полюбоваться да и покритиковать работу. К этому времени прилежная ученица тетки догоняла в знании рукоделий свою учительницу — недоступного в шитье и в вышивках для нее становилось мало. Февронья Трофимовна гордилась Аненкой...

С огородом надо спешить. К Петрову дню чтоб он был на твердых ногах, чтоб тетка Февронья с помощью Вани (полить огород с вечера) сама справилась с огородом. После Петрова дня страда начинается...

Страда — это боевой клич нашего города. Назрело самое главное, подготавливавшееся с весны, с первой засеянной мужицкой полоски. Хлебом жили и волновались с начала посевов.

— Удался ли посев? Какие всходы? Не ударил бы мороз.

— Колоситься, колоситься начал, — звучало по городу.

Вечерами по небу начнутся зарницы далеких молний: «Наливает хлебушко!» — несется радостный гул. Пройдет под налив ровный дождик — сияют люди — подумаешь, посевики тоже, а ведь у них своего-то хлеба и на аршине не посеяно.

Это было затаенное сожительство с ростом колоса. В зависимости от процесса там, на полях степей заволжских, город оживлялся, либо затихал.

Помню с раннего детства на себе гнетущую тоску от

засухи, помохи, суховея, саранчи, тучами закрывшей солнце, и помню клич: «наливает хлебушко» — и, как жаворонок, взвьется, бывало, сердце.

Страда началась, — означало, что свершились все ожидания, колос за себя постоял.

Первые завозятся татары. «Татарва тронулась», — понесется от одного к другому по городу.

Татары в нашем уезде были превосходной выносливости и честности жнецы: брали верную высоту соломы, работали и ночью, что под силу только очень опытным работникам. Татары ухитрились кое-как ликвидировать свои плешивые, недозрелые полосы или поручали оставшимся старухам подергать недожатое у себя, а сами целыми деревнями с детьми и женами, с самоварами и одеялами и всей рухлядью грузились на телеги-таратайки и направлялись за Волгу, на юг, к станицам.

Днем и ночью скрипят и бренчат скарбом обозы; режут ребятишки, воют между колесами татарские псы. На пристани у перевоза заторы. Двойные баржи не в силах управиться с погрузкой... Драки и крики. Ночные костры. Запах конины... Наконец первые человеческие волны схлынут. Теперь в ночную пору за Волгой замельтешат костры осевших либо застрявших с ночевками обозов. Татары разбрелись далеко, — поэтому и выбирались заранее, но тем не менее сборы начинались и у горожан. Хлеб вызревал не ровно. Иногда от местных условий — росы, дождя, заходоления вызревание было разным на протяжении одного уезда... Но случись помоха, тогда каждый день замедления грозит урожаю: ухвостье свернется, обнажит зерно, и оно не только от прикосновения серпа, но и от незначительного ветра выпадет из гнезда.

Федосья Антоньевна сняла с чердака серпы, где они зимовали смазанные салом и завернутые в обмотку. Теперь серпам давалась направка. Серп для жнеца — это смычок: в нем все должно быть пригнано в размере и весе для работника. Хорошие серпы на базаре не покупались. У нас в городке было несколько кузнецов специалистов, знавших секреты кругления лезвия, нарезки и накала стали.

Спешная забота бабушки Федосьи состояла в наборе «дружбы». «Дружбы» — это небольшие в четыре — шесть человек артели жнецов, берущих на себя отдельные участки жнивья.

Хорошая «дружба» — это ровный подбор работников, не «заедающих чужую спину». Бабушка рассказывала о своей подруге Сысоевне, с которой она жила двенадцать лет подряд в «двойке».

— Начнем десятину с разных концов до рассвета. Солнце над головой встанет, а мы плечо к плечу по середине самой, и ты, хоть саженью меряй, и снопов моих и ейных поровну... А ведь другой начнет махи махать, из серпа выскакивать, — такую линию объедет, и не сыщешь его в хлебе-то... Сысоевна, покойница, — эта по-родительскому жала: серп в серп, — говорила бабушка.

Похвала «серп в серп» означала считавшееся «родительским», то есть классическим, перпендикулярное положение двух дуг: жнеца и серпа. От этих дуг, как уверяли старики, пошла и горбатость русская.

В «дружбу» бралась и молодежь на «полсилы» и даже на «четверть силы». Иногда работник послабее брал себе такого помощника и включал его в себя, то есть они вдвоем считались одной силой.

Аненка шла жать на полсилы, в чем ей завидовали подруги-девушки.

— Это была моя последняя девичья волюшка, — рассказывала мать. — Но зато и надышалась я ей досыта за это жнитво. Воздух степной, медовый... Народу со всего света, казалось, набралось — мордва, чуваша, татары, — на всех языках говор. Песни почью по степи раскинутся, словно навзрыд вся земля застонет. Костры, как пожары по степи... А зори какие! Нет, уж таких зорь не увижу больше...

— Почему? — спрашиваю.

— А ты бы как думал, — молодость моя вернется? Глаза прояснятся? Оттого так и виделось, что молода была. Жизнь-то передо мной скатертью разворачивалась, а теперь она на салфеточке — тут вся...





Глава четвертая

ЛИНИИ СОШЛИСЬ

Хорошее в том году выпало лето. Жара и дожди прошли вовремя. Сбор хлеба и молотья были удачными. Да и вести с войны были благоприятны, победоносные. Каждая семья, у которой кто-либо из родни участвовал на войне, была уверена, что вот их парень собственноручно и побеждает врагов лютых и уже, конечно, живым да еще с медалью вернется домой.

К осени появилась первая партия пленных турок. Толпами бросились хлыновцы к тюремному замку на Острожную улицу, чтоб полюбоваться на поработленного врага, и тут хлыновцев постигло разочарование: никакой перед ними лютости, в цепи и кандалы закованной, не оказалось. Сидят на тюремном дворе самые что ни на есть простые люди, мужики, как и наши, лопочут только по-ихнему да фески у которых на головах, а сами оборванные и измученные за дорогу. Начались соблезнования: вот, мол, и наши парни где-то там, в Турции, также мучаются, и понесли хлыновцы врагу лютому кокурок сдобных, холстины, обрезок сапожных.

Бабье лето наступило в полной красоте. Серебряные

паутины сверкали на солнце; золото и багрянец опавших листьев покрыли дороги и прогалины леса; калина и рябина огнились своими гроздьями...

Анечка с матерью отбывала вторую страду: по грибы, за орехами, за калиной. В лесу праздник. Шум и многолюдие. Пестрят сарафаны и рубахи. Смех, песни, ауканье... Хорошему грибнику на таком базаре делать нечего. Надо уходить на Ровню, где в чаще леса растет калинник, а на полянках между березами попадаются белые грибы.

Я с бабушкой ходил по грибы. В лесу бабушка вела себя скрытно, чтоб голоса не подать, и мне запрещала шуметь.

— Ты на гнездо наткнешься, а бабища какая-нибудь на голос привяжется — и ну обирать твою находку...

Помню ее начальную грамоту:

— Глаза поверху не таращь... В лесу соблазна много: и тебе птичка зачирикает, и цветочек в глазах замельтешится, а ты о грибе думай... Дурной гриб наружу лезет, а настоящий гриб скрыто растет, листочками, землицей укроется... Для начала не привередничай, собирай, что Бог пошлет — потом разберешься: груздь пойдет — и маслята выбросишь.

Меня удивляла зоркость бабушки: под неприметной для меня вздутостью хвои бабушка вскрывала целые семьи рыжиков, копнув палочкой перегной, вскрывала в пятерню величиной груздь...

— Кузьярка, сбегай на пригорок, вон из-под листа боровичок виднеется. — А ей уже было за семьдесят лет.

В глубокой старости, наблюдая, как моя мать при помощи очков вдевает в иголку нитку и мешкает, бабушка говорила:

— Да ты бы стекла сняла — мешают, чай... А то давай, я тебе вздену.

Собирая на ходу, что попадалось, добралась Федосья Антоновна с дочерью на Ровню в тайные белогрибные места. Анена только ахает на толстые корневища. Здесь уже ее не учить — грибы сами в лукошко просятся. Обобрали одно место. Бабушка хворостинку на дерево повесила, — мету поставила, — и пошли мать с дочерью дальше, ошаривая траву возле пней...

И вдруг голос женский, строгий такой, звонкий из чащи.

— Я присела от неожиданности,— рассказывала мне моя мать,— а голос говорит: — Сергей Федорыч, дитяtko мое любимое, что же это ты дубиной стоеросовой в небо уперся?

Женскому голосу отвечал мужской, молодой:

— Я, мамаша, смотрю, словно бы гуси полетели.

— Куры полетели об эту пору... Угораздило меня, грешную, обузу с собой взять. Духу ты лесного не чувствуешь,— продолжал женский голос. Мужской добродушно отвечал: — Чувствую, мамаша, лопни глаза, чувствую, так спать хочется — просто деваться некуда...

Федосья Антоньевна подала было знак дочери, чтоб уйти подальше от голосов, но листва раздвинулась, и к ним вышла крупная, моложавая старуха. Чернобровая, с длинным разрезом век, из которых смотрели живые, пытливые серые глаза. Плоский, чуть поднятый нос и широкий рот с тонкими губами делали выражение лица строгим и заносчивым. Следом за ней выкарабкался из чащи высокий парень с лицом, опущенным бородой. Он первым снял картуз, поздоровался и присел в сторонке у дерева. Женщины заговорили:

— Мир вашему.

— Подите к нашему... — Осмотрели грибы; похвалили одна другую за добычу. Затем последовал обычный разговор. Незнакомая говорила певуче, особенно ударяя на слогах:

— Чьи будете?

— С Малафеевки. Вдова я Пантелея Трофимова, щепника,— отвечала Федосья Антоньевна.

— Как же, знаю... А я Водкина, Арина Водкина... Может, слышала про моего Федора Петровича?

— Слышала, слышала. Мой покойник знавал твоего Федора... А это дочь моя — Анна.

— А это мой сынок младший, Сергуня,— Арина Игнатьевна обернулась, отыскивая глазами сына, чтоб представить его присутствующим, а Сергуня, положив руку под голову, растянулся на осенних листьях и сладко храпел. Видя, как Арина Игнатьевна вскипела от бестактности сына, Федосья Антоньевна вступилась за парня:

— Это его воздух уморил. Пускай его отоспится. А и нам не грех отдохнуть, хлебушка пожевать...

Грибницы повынимали из котомок еду. Бабушка Федосья выложила огурчиков на круг, бабушка Арина яблочек и, закусывая под хрип моего будущего родителя, продолжали беседу.

Арина Игнатьевна заговорила с девушкой, зорко выпытывая ее глазами.

— Ой, напугали меня тогда глаза моей будущей свекровушки, насквозь пронизали, — говорила мне мать.

Это была первая встреча моих отца и матери. Попрощались они и разошлись до поры до времени.

С холодными заморозками начиналось девье лето: посиделки, просваты, свадьбы. Из дома в дом ходила молодежь. Отпевали девичьи голоса своих просватанных подруг. Шелушились орехи и семечки, и лились любовные песни и шепоты...

Осенью парни каждой улицы волками делались к захожим: не ходи, не выглядывай девок наших. Покуда не произошло открытого сватовства девушки с юношей с другой окраины, до тех пор дорога ему сюда закрыта — огласка снимала запрет: это был родительский обычай.

На посиделках услышала Анена, как парня одного до крови избили малафеевские... Старики-понеты Захаровы с кольями вышли, чтоб предотвратить убийство на своей улице — они и спасли захожего молодца... С Вольновки парень — Водкин, сапожник...

Неделю спустя возле дома, где происходила на этот раз помолвка, разыгралось побоище. Парни выскочили из избы на подмогу своим, девушки смолкли, притихли, — это братья Водкины приходили отомстить за пролитую кровь брата Сергуни... Анене вспомнилась встреча в лесу.

Загуляля забритые — стон пошел городом от пьяной отваги и отчаяния. «Саратовская с перебором» пронизывала морозный воздух — надрывались гармоники и трепались как живые души из конца в конец Хлыновска. Об эту пору на посиделках одна из подруг и шепнула Анене:

— На днях тебя сватать будут. Верно-наверно знаю.

— Кто? — испуганно спросила Анена.

— С Вольновки, за Водкина...

Девушку как в колодезь опустили — ни песен, ни веселья не слышит она. Понять не может, плохое или хоро-

шее идет к ней, но слезы текут сами собой, и не остановить их вышитым платочком...

Дома про услышанное она не рассказывала, но заметила, что в доме шептались — мать с теткой уже знали о предложении. Накануне смотрин Анена была предупреждена теткой о предстоящем событии.

Дальнейшее произошло быстро и незаметно по времени. Отпели Анену подруги нежными девичьими голосами, расплели косу и заплели на две косы, и стала Анна Пантелеевна женой Сергея Федоровича.

Молодой супруг перешел жить под тещин кров в келлейку.

— И что теперь за свадьбы стали играть: только бы окрутить парня с девкой... Напьются до одури последней, пропьют сватья сына с дочерью и рады, — дело сделано, а как это в семье новой откликнется — про то и дела нет... Ну, она и пойдет собачья жизнь, от Бога грешная и от людей зазорная...

Это сидим мы с бабушкой Ариной на лавочке перед ее домом.

Летние густые сумерки наполнили улицу Водкиных. С Волги несется перевальная сирена Кавказ-Меркурия, не вяжущаяся с бабушкиным говором, бабушка это чует, чует, старая, что жизнь пошла не в те края, что не повернуть ей жизни, что если бы не я, внучек ее любимый, перешедший во вражескую ей жизнь, — значит, и ее родовое не затеряется, а может быть, и проявится через меня, если бы не эта увязка, — прокляла бы она эту неверную, свихнувшуюся жизнь и ждала бы не стала развертывания ее дальнейшего... Бабушка продолжала:

— У меня, чтобы жених, тем паче мое детище, да чтобы напился при таком случае, — грозно произнесла Арина Игнатьевна и после некоторого молчания продолжала: — Твои родители по чину женились... И кори, не кори меня этой свадьбой, за правду ее до смерти стоять буду... Да, внучек, свадьба один раз в жизни бывает, с нее плоды зачинаются, с нее жизнь строится... Я ведь невесту сквозь-насквозь просмотрела, прежде как решиться судьбы вязать.. Не к тому, что Сергуня мой какой бы особенный был, а чтоб правда вышла от свадьбы. Ты по-

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Глава первая. По линии матери</i>	3
<i>Глава вторая. По линии отца</i>	12
<i>Глава третья. Линии сходятся</i>	23
<i>Глава четвертая. Линии сошлись</i>	36
<i>Глава пятая. Зерно, ушедшее с полей</i>	45
<i>Глава шестая. Начало семьи</i>	53
<i>Глава седьмая. Рождение</i>	63
<i>Глава восьмая. Уюты</i>	72
<i>Глава девятая. Натюрморты</i>	82
<i>Глава десятая. Охта — пустая улица</i>	91
<i>Глава одиннадцатая. Казармы</i>	102
<i>Глава двенадцатая. Дом Махаловых</i>	114
<i>Глава тринадцатая. Дворня</i>	128
<i>Глава четырнадцатая. Космические впечатления</i>	141
<i>Глава пятнадцатая. Первоначальная школа</i>	156
<i>Глава шестнадцатая. Ерошка</i>	169
<i>Глава семнадцатая. В одну из зим</i>	185
<i>Глава восемнадцатая. Весенний дождь</i>	196
<i>Глава девятнадцатая. Волга</i>	210
<i>Глава двадцатая. Холерный год</i>	225

Литературно-художественное издание

Для среднего и старшего возраста

Петров-Водкин Кузьма Семенович

ХЛЫНОВСК

Повесть

ответственный редактор А. Н. Печерская. Художественный редактор А. Б. Сапрыгина.
технический редактор И. С. Крулова. Корректоры Г. Ю. Жильцова, И. П. Мокшина.

ИБ № 11919

во в набор 02.04.90. Подписано к печати 18.03.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. тип. № 2.
ифт. обькн. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,34. Усл. кр.-отт. 16,38. Уч. изд. л. 12,56 +
+8 акл.=13,04. Тираж 100 000 экз. Заказ № 4627. Цена 3 р. 20 к.

Цены Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. Издательство «Детская литература»
Министерства печати и массовой информации РСФСР, 103720, Москва, Центр, М. Черкасский
пер., 1.

Цены Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Мининформпечати РСФСР, 127018,
Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

3 p. 20 κ.